

Александр Куприн

Корь



Александр Иванович Куприн

Корь

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2477035

Аннотация

«Перед обедом доктор Ильяшенко и студент Воскресенский искупались. Жаркий юго-восточный ветер развел на море крупную зыбь. Вода у берега была мутная и резко пахла рыбой и морскими водорослями; горячие качающиеся волны не освежали, не удовлетворяли тела, а, наоборот, еще больше истомляли и раздражали его...»

Содержание

I	4
II	11

Александр Иванович Куприн Корь

I

Перед обедом доктор Ильяшенко и студент Воскресенский искупались. Жаркий юго-восточный ветер развел на море крупную зыбь. Вода у берега была мутная и резко пахла рыбой и морскими водорослями; горячие качающиеся волны не освежали, не удовлетворяли тела, а, наоборот, еще больше истомляли и раздражали его.

– Вылезайте, коллега, – сказал доктор, поливая пригоршнями свой толстый белый живот. – Так мы до обморока закупаемся.

От купальни нужно было подыматься вверх, на гору, по узкой тропинке, которая была зигзагами проложена в сыпучем черном шифере, поросшем корявым дубнячком и бледно-зелеными кочнями морской капусты. Воскресенский взбирался легко, шагая редко и широко своими длинными мускулистыми ногами. Но тучный доктор, покрывший голову, вместо шляпы, мокрым полотенцем, изнемогал от зноя и одышки. Наконец он совсем остановился, держась за сердце,

тяжело дыша и мотая головой.

– Фу! Не могу больше... Хоть снова полезай в воду... Постоим минутку...

Они остановились на плоском закруглении между двумя коленами дорожки, и оба повернулись лицом к морю. Взбудораженное ветром, местами освещенное солнцем, местами затененное облаками, – оно все пестрело разноцветными заплатами. У берега широко белела пена, тая на песке кисейным кружевом, дальше шла грязная лента светло-шоколадного цвета, еще дальше – жидкая зеленая полоса, вся сморщенная, вся изборожденная гребнями волн, и, наконец, – могучая, спокойная синева глубокого моря с неправдоподобными яркими пятнами, то густофиолетовыми, то нежно-малахитовыми, с неожиданными блестящими кусками, похожими на лед, занесенный снегом. И вся эта живая мозаика казалась опоясанной у горизонта черной, спокойной, неподвижной лентой безбрежной дали.

– А все-таки здорово как! – сказал доктор. – Красота ведь, а?

Он протянул вперед короткую руку с толстенькими, как у младенца, пальцами и широко, по-театральному, черкнул ею по морю.

– Да... ничего, – равнодушно ответил Воскресенский и зевнул полупритворно. – Только надоедает скоро. Декорация.

– Та-ак! Мы их ели. Это, знаете, анекдот есть такой, – по-

яснил Ильяшенко. – Пришел солдат с войны к себе в деревню, ну и, понятно, врет, как слон. Публика, конечно, обалдевши от удивления. «Были мы, говорит, на Балканах, в самые, значит, облака забрались, в самую серединку». – «Ах, батюшки, да неужто ж в облака?» А солдат этак с равнодушием: «А что нам облака? Мы их ели. Все одно как студень».

У доктора Ильяшенки была страсть рассказывать анекдоты, особенно из простонародного и еврейского быта. В глубине души он думал, что только по капризному расположению судьбы из него не вышло актера. Дома он изводил жену и дочь Островским, а в гостях у пациентов любил декламировать никитинского «Ямщика», причем неизменно для этого вставал, переворачивал перед собою стул и опирался на его спинку вывороченными врозь руками. Читал же он самым неестественным, нутряным голосом, точно чревовещатель, полагая, что именно так и должен говорить русский мужик.

Рассказав анекдот о солдате, он тотчас же, первый, радостно захохотал свободным грудным смехом. Воскресенский принужденно улыбнулся.

– Видите ли, доктор... юг, – начал он вяло, точно затрудняясь в словах, – не люблю юга. Здесь все как-то маслено, как-то... не знаю... чрезмерно. Ну, вот, цветет магнолия... позвольте, да разве это – растение? Так и кажется, что ее нарочно сделали из картона, выкрасили зеленой масляной краской, а сверху навели лак. Природа! Солнце встало из-за моря – и жара, а вечером бултых за горы – и сразу ночь. Нет

птиц. Нет наших северных зорь с запахом молодой травки, нет поэзии сумерек, с жуками, с соловьем, со стадом, бредущим в пыли. Какая-то оперная декорация, а не природа...

– В вашем до-оме, – сиплым тенорком запел доктор. – Известно, – вы кацап.

– А эти лунные ночи, черт бы их драл! – продолжал Воскресенский, оживляясь от давнишних мыслей, которые он до сих пор думал в одиночку. – Одно мученье. Море лоснится, камни лоснятся, деревья лоснятся. Олеография! Цикады дурацкие орут, от луны никуда не спрячешься. Противно, беспокойно как-то, точно тебя щекочут в носу соломинкой.

– Варвар! Зато, когда у вас в Москве двадцать пять градусов мороза, и даже городские трещат от холода, – у нас цветут розы и можно купаться.

– И южного народа не люблю, – упрямо продолжал студент, следивший за своими мыслями. – Скверный народишко – ленивый, сладострастный, узколобый, хитрый, грязный. Жрут всякую гадость. И поэзия у них какая-то масляная и приторная... Вообще – не люблю!

Доктор остановился, развел руками и сделал круглые, изумленные глаза.

– Тю-тю-тю-у! – засвистал он протяжно. – И ты, Брутус? Узнаю дух нашего почтенного патрона в ваших словах. Русская песня, русская рубаха, а? Русский бог и русская подоплека? Жидишки, полячишки и прочие жалкие народишки? А?

– Будет вам, Иван Николаевич. Оставьте, – резко сказал Воскресенский. Лицо у него вдруг побледнело и некрасиво сморщилось. – Тут смеяться не над чем; вы знаете хорошо мои взгляды. Если я до сих пор не сбежал от этого попугая, от этого горохового шута, то только потому, что есть надо, а это все скорее прискорбно, чем смешно. Довольно и того, что за двадцать пять рублей в месяц я ежедневно отказываю себе в удовольствии высказать то, что меня давит... душит за горло... что оподляет мои мысли!..

– Пре-елость, ну зачем так сильно!

– У! Я бы ему сказал много разных слов! – воскликнул злобно студент, потрясая перед лицом крепким, побелевшим от судорожного напряжения кулаком. – Я бы... о, какой это шарлатан!.. Ну, да ладно... не навек связаны.

Глаза доктора вдруг сузились и увлажнились. Он взял Воскресенского под руку и, баловливо прижимаясь головой к его плечу, зашептал:

– Слушайте, радость, зачем так кирпичиться? Ну что толку, если вы Завалишина изругаете? Вы его, он вас – и выйдет шкандал в благородном доме, и больше ничего. А вы лучше соедините сладость мести с приятностью любви. Вы бы Анну Георгиевну... А? Или уже?

Студент промолчал и делал усилия высвободить свою руку из рук доктора, но тот еще крепче притиснул ее к себе и продолжал шептать, играя смеющимися глазами:

– Чудак человек, вы вкусу не понимаете. Женщине трид-

цать пять лет, самый расцвет, огонь... тела какие! Да будет вам жасминничать – она на вас, как кот на сало, смотрит. Чего там стесняться в родном отечестве? Запомните афоризм: женщина с опытом подобна вишне, надклеванной воробьем, – она всегда слаще... Эх, где мои двадцать лет? – заговорил он по-театральному, высоким блеющим горловым голосом. – Где моя юность! Где моя пышная шевелюра, мои тридцать два зуба во рту, мой...

Воскресенскому удалось наконец вырваться от повисшего на нем доктора, но сделал он это так грубо, что обоим стало неловко.

– Простите, Иван Николаич, а я... не могу таких мерзостей слушать... Это не стыдливость, не целомудрие, а... просто грязно, и... вообще... не люблю я этого... не могу...

Доктор насмешливо растопырил руки и хлопнул себя по ляжкам.

– Очарование мое, значит, вы не понимаете шуток? Я сам вполне уважаю чужие убеждения и, уверяю вас, радуюсь, когда вижу, что среди нынешней молодежи многие смотрят чисто и честно на эти вещи, но почему же нельзя пошутить? Сейчас же фрр... и хвост веером. К чему?

– Извините, – глухо сказал студент.

– Ах, родной мой, я же ведь это не к тому. Но только все вы теперь какие-то дерганые стали. Вот и вы: здоровенный мужчинец, грудастый, плечистый, а нервы как у институтки. Кстати, знаете что, – прибавил доктор деловым тоном, – вы

бы, сладость моя, пореже купались. Особенно в такую жару. А то, знаете, можно с непривычки перекупаться до серьезной болезни. У меня один пациент нервную экзему схватил оттого, что злоупотреблял морем.

Они шли теперь по последнему, почти ровному излому тропинки. Справа от них обрывалась круто вниз гора и бесконечно далеко уходило кипящее море, а слева лепились по скату густые кусты шиповника, осыпанного розовыми, нежными цветами, и торчали из красно-желтой земли, точно спины лежащих животных, большие, серые, замшелые камни. Студент смущенно и сердито глядел себе под ноги.

«Нехорошо это вышло, – думал он, морщась. – Нелепо как-то. В сущности, доктор славный, добрый человек, всегда внимательный, уступчивый, ровный. Правда, он держит себя немножко паяцем и болтлив, ничего не читает, сквернословит, опустился благодаря легкой курортной практике... Но все-таки он хороший, и я поступил с ним резко и невежливо».

А Ильяшенко в это время беспечно сбивал тросточкой тонкие белые цветочки повилики, крепко пахнувшие горьким миндалем, и напевал вполголоса:

В вашем до-оме узнал я впервые-ые...

Сладость чистой и нежн-ай любви.

II

Они вышли на шоссе. Над белой каменной оградой, похожей своей массивностью на крепостную стену, возвышалась дача, затейливо и крикливо выстроенная в виде стилизованного русского терема, с коньками и драконами на крыше, со ставнями, пестро разрисованными цветами и травами, с резными наличниками, с витыми колонками, в форме бутылок, на балконах. Тяжелое и несуразное впечатление производила эта вычурная, пряничная постройка на фоне сияющего крымского неба и воздушных, серо-голубых гор, среди темных, задумчивых, изящных кипарисов и могучих платанов, обвитых сверху донизу плющом, вблизи от прекрасного, радостного моря. Но ее владелец, Павел Аркадьевич Завалишин, бывший корнет армейской кавалерии, затем комиссионер по продаже домов, позднее – нотариус в крупном портовом городе на юге, а ныне известный нефтяник, пароходо-владелец и председатель биржевого комитета, – не чувствовал этого противоречия. «Я – русский и потому имею право презирать все эти ренессансы, рококо и готики! – кричал он иногда, стуча себя в грудь. – Нам заграница не указ. Будет-с: довольно поклонялись. У нас свое, могучее, самобытное творчество, и мне, как русскому дворянину, начихать на иностранщину!»

На огромном нижнем балконе уже был накрыт стол. До-

жидались Завалишина, который только что приехал из города и переодевался у себя в комнате. Анна Георгиевна лежала на кресле-качалке, томная, изнемогающая от жары, в легком халате из молдаванского полотна, шитого золотом, с широкими, разрезными до подмышек рукавами. Она была еще очень красива тяжелой, самоуверенной, пышной красотой – красотой полной, хорошо сохранившейся брюнетки южного типа.

– Здравствуйте, доктор, – сказала она низким голосом, чуть-чуть картавя. – Отчего вы вчера не догадались приехать? У меня была такая мигрень!

Не подымаясь с кресла, она лениво протянула Ивану Николаевичу руку, причем свисший вниз рукав открыл круглое, полное плечо с белой оспинкой, и голубые жилки на внутреннем сгибе локтя, и темную хорошенькую родинку немного повыше. Анна Георгиевна (она требовала почему-то, чтобы ее называли не Анной, а Ниной) знала цену своим рукам и любила их показывать.

Ильяшенко приник к протянутой руке так почтительно, что ее пришлось у него выдернуть насильно.

– Вот видите, какой у нас доктор галантный, – сказала Анна Георгиевна, переводя на Воскресенского смеющиеся, ласковые глаза. – А вы никогда у дам рук не целуете. Медведь! Подите сюда, я перевяжу вам галстук. Вы бог знает как одеваетесь!

Студент неуклюже подошел и нагнул над ней, ощущая,

сквозь сильный аромат духов, запах ее волос. Ловкие, нежные пальцы забегали по его шее.

Воскресенский был целомудренный молодой человек, в прямом, здоровом смысле этого слова. Конечно, еще с первых классов гимназии он понаслышке знал все, что касается самых интимных отношений между женщиной и мужчиной, но его просто никогда не тянуло делать то, что делали и чем хвастливо гордились его товарищи. В нем сказывалась спокойная и здоровая кровь устойчивой старинной поповской семьи. Но и лицемерного, ханжеского негодования против «бесстыдников» у него не было. Он равнодушно слушал то, что говорилось по этому поводу, и не возмущался, если при нем рассказывали те известные анекдоты, без которых в русском интеллигентном обществе не обходится ни один разговор.

Он хорошо понимал, что значило постоянное заигрывание с ним Анны Георгиевны. Здороваясь и прощаясь, она подолгу задерживала его руку в своей мягкой, изнеженной и, в то же время, крепкой руке. Она любила, под видом шутки, ерошить ему волосы, иногда покровительственно звала его уменьшительным именем, говорила при нем рискованные, двусмысленные вещи. Если им обоим случалось нагнуться над альбомом или опереться рядом на перила балкона, следя за пароходом в море, она всегда жалась к нему своей большой грудью и горячо дышала ему в шею, причем завитки ее жестких, курчавых волос щекотали ему щеку.

И она возбуждала в Воскресенском странное, смешанное чувство – боязливости, стыда, страстного желания и отвращения. Когда он думал о ней, она представлялась ему такой же чрезмерной, ненатуральной, как и южная природа. Ее глаза казались ему чересчур выразительными и влажными, волосы – чересчур черными; губы были неправдоподобно яркие. Ленивая, глупая, беспринципная и сладострастная южанка чувствовалась в каждом ее движении, в каждой улыбке. Если она подходила к студенту слишком близко, то он сквозь одежду, на расстоянии, ощущал теплоту, исходящую от ее большого, полного, начинающего жиреть тела.

Двое подлетков-гимназистов, с которыми занимался Воскресенский, и три девочки, поменьше, сидели за столом, болтая ногами. Воскресенский, стоявший согнувшись, поглядел на них искоса, и ему вдруг стало совестно за себя и за них, и в особенности за голые, теплые руки их матери, которые двигались так близко перед его губами. Он неожиданно выпрямился, с покрасневшим лицом.

– Позвольте-с, я сам, – сказал он хрипло.

На балконе показался Завалишин в фантастическом русском костюме: в чесучовой поддевке поверх шелковой голубой косоворотки и в высоких лакированных сапогах. Этот костюм, который он всегда носил дома, делал его похожим на одного из провинциальных садовых антрепренеров, охотно щеголяющих перед купечеством широкой натурой и одеждой в русском стиле. Сходство дополняла толстая золотая

цепь через весь живот, бряцавшая десятками брелоков-жетонов.

Завалишин вошел быстрыми, тяжелыми шагами, высоко неся голову и картинно расправляя обеими руками на две стороны свою пушистую, слегка седеющую бороду. Дети при его появлении вскочили с мест. Анна Георгиевна медленно встала с качалки.

– Здравствуйте, Иван Николаевич. Здравствуйте, Цицерон, – сказал Завалишин, небрежно протягивая руку студенту и доктору. – Кажется, я заставил себя ждать? Боря, молитву.

Боря с испуганным видом залепетал:

– Оч-чи всех на тя, господи, уповают...

– Прошу, – сказал Завалишин, коротким жестом показывая на стол. – Доктор, водки?

Закуска была накрыта сбоку на отдельном маленьком столике. Доктор подошел к ней шутовским шагом, немного согнувшись, приседая, подшаркивая каблуками и потирая руки.

– Одному фрукту однажды предложили водки, – начал он, по обыкновению, паясничать. – А он ответил: «Нет, благодарю вас; во-первых, я не пью, во-вторых, теперь еще слишком рано, а в-третьих, я уже выпил».

– Издание двадцатое, – заметил Завалишин. – Возьмите икры.

Он придвинул к доктору деревянный лакированный ушат,

в котором, во льду, стояла серебряная бадья с икрой.

– Удивляюсь, как вы можете в такую жару пить водку, – сказала, морщась, Анна Георгиевна.

Завалишин поглядел на нее с серьезным видом, держа у рта серебряную чеканную чарочку.

– Русскому человеку от водки нет вреда, – ответил он внушительно.

А доктор, только что выпивший, громко крикнул и прибавил дьяконским басом:

– Во благовремении... Что же, Павел Аркадьевич? Отец Мелетий велит по третьей?

За столом прислуживал человек во фраке. Прежде он носил что-то вроде ямщичьей безрукавки, но Анна Георгиевна в один прекрасный день нашла, что господам и слугам неприлично рядиться почти в одинаковые костюмы, и настояла на европейской одежде для лакея. Но зато вся столовая мебель и утварь отличались тем бесшабашным, ерническим стилем, который называется русским декадансом. Вместо стола стоял длинный, закрытый со всех сторон ларь; сидя за ним, нельзя было просунуть ног вперед, – приходилось все время держать их скорченными, причем колени больно стучались об углы и выступы резного орнамента, а к тарелке нужно было далеко тянуться руками. Тяжелые, низкие стулья, с высокими спинками и растопыренными ручками, походили на театральные деревянные троны – жесткие и неудобные. Жбаны для кваса, кувшины для воды и сулеи

для вина имели такие чудовищные размеры и такие нелепые формы, что наливать из них приходилось стоя. И все это было вырезано, выжжено и разрисовано разноцветными павлинами, рыбами, цветами и неизбежными петухами.

– Нигде так не едят, как в России, – сочным голосом говорил Завалишин, заправляя белыми, волосатыми руками угол салфетки за воротник. – Да, господин студент, я знаю, что вам это неприятно, но – увы! – это так-с. Во-первых, рыба. Где в мире вы отыщете другую астраханскую икру? А камские стерляди, осетрина, двинская семга, белозерский снеток? Найдите, будьте любезны, где-нибудь во Франции ладожского сига или гатчинскую форель. Ну-ка, попробуйте найдите; я вас об этом усердно прошу. Теперь возьмите дичь. Все, что вам угодно, и все в несметном количестве: рябчики, тетерки, утки, бекасы, фазаны на Кавказе, вальдшнепы. Потом дальше: черкасское мясо, ростовские поросята, нежинские огурцы, московский молочный теленок! Да, словом, все, все... Сергей, дай мне еще ботвиньи.

Павел Аркадьевич ел много, жадно и некрасиво. «А ведь он порядочно наголодался в молодости», – подумал студент, наблюдая его украдкой. Случалось иногда, что среди фразы Завалишин клал в рот слишком большой кусок, и тогда некоторое время тянулась мучительная пауза, в продолжение которой он, торопливо и неряшливо прожевывая, глядел на собеседника выпученными глазами, мычал, двигал бровями и нетерпеливо качал головой и даже туловищем. В эти

минуты Воскресенский опускал глаза на тарелку, чтобы не выдать своей брезгливости.

– Доктор, а вина? – с небрежной любезностью предлагал Завалишин. – Рекомендую вам вот это беленькое. Это «орианда» девяносто третьего года. Ваш стакан, Демосфен.

– Я не пью, Павел Аркадьевич. Простите.

– Эт-то уд-дивительно! Юноша, который не пьет и не курит. Скверный признак, молодой человек! – вдруг строго возвысил голос Завалишин. – Скверный признак! Кто не пьет и не курит, тот мне всегда внушает подозрение. Это – или скряга, или игрок, или развратник. Пардон, к вам сие не касательно, господин Эмпедокл. Доктор, а еще? Это – «орианда»; право же, недурное винишко. Спрашивается, зачем я должен выписывать от колбасников разные там мозельвейны и другую кислятину, если у нас, в нашей матушке России, выделяют такие чудные вина. А? Как вы думаете, профессор? – вызывающе обратился он к студенту.

Воскресенский принужденно и вежливо улыбнулся.

– У всякого свой вкус...

– Де густибус?.. знаю-с. Тоже учились когда-то... Чему-нибудь и как-нибудь, по словам великого Достоевского. Вино, конечно, пустяки, киндершпиль¹, но важен принцип. Принцип важен, да! – закричал неожиданно Завалишин. – Если я истинно русский, то и все вокруг меня должно быть русское. А на немцев и французов я плевать хочу. И на жи-

¹ Детская игра (нем. Kinderspiel).

дов. Что, не правду я говорю, доктор?

– Да... собственно говоря – принцип... это, конечно... да, – неопределенно пробасил Ильяшенко и развел руками.

– Горжусь тем, что я русский! – с жаром воскликнул Завалишин. – О, я отлично вижу, что господину студенту мои убеждения кажутся смешными и, так сказать, дикими, но уж что поделаешь! Извините-с. Возьмите таким, каков есть-с. Я, господа, свои мысли и мнения высказываю прямо, потому что я человек прямой, настоящий русопет и привык рубить сплеча. Да, я смело говорю всем в глаза: довольно нам стоять на задних лапах перед Европой. Пусть не мы ее, а она нас боится. Пусть почувствуют, что великому, славному, здоровому русскому народу, а не им, тараканьим мощам, принадлежит решающее властное слово! Слава богу! – Завалишин вдруг размашисто перекрестился на потолок и всхлипнул. – Слава богу, что теперь все больше и больше находится таких людей, которые начинают понимать, что кургузый немецкий пиджак уже трещит на русских могучих плечах; которые не стыдятся своего языка, своей веры и своей родины; которые доверчиво протягивают руки мудрому правительству и говорят: «Веди нас!..»

– Поль, ты волнуешься, – лениво заметила Анна Георгиевна.

– Я ничего не волнуюсь, – сердито огрызнулся Завалишин. – Я высказываю только то, что должен думать и чувствовать каждый честный русский подданный. Может быть,

кто-нибудь со мной не согласен? Что ж, пускай мне возразит. Я готов с удовольствием выслушать противное мнение. Вот, например, господину Воздвиженскому кажется смешным...

Студент не поднял опущенных глаз, но побледнел, и ноздри у него вздрогнули и расширились.

– Моя фамилия – Воскресенский, – сказал он тихо.

– Виноват, я именно так и хотел сказать: Вознесенский.

Виноват. Так вот, я вас и прошу: чем строить разные кривые улыбки, вы лучше разбейте меня в моих пунктах, докажите мне, что я заблуждаюсь, что я не прав. Я говорю только одно: мы плюем сами себе в кашу. Мы продаем нашу святую, великую, обожаемую родину всякой иностранной шусшере. Кто орудует с нашей нефтью? Жиды, армяшки, американцы. У кого в руках уголь? руда? пароходы? электричество? У жидов, у бельгийцев, у немцев. Кому принадлежат сахарные заводы? Жидам, немцам и полякам. И главное, везде жид, жид, жид!.. Кто у нас доктор? Шмуль. Кто аптекарь? банкир? адвокат? Шмуль. Ах, да черт бы вас побрал! Вся русская литература танцует маюфес и не вылезает из миквы. Что ты делаешь на меня страшные глаза, Анечка? Ты не знаешь, что такое миква? Я тебе потом объясню. Да. Недаром кто-то сострил, что каждый жид – прирожденный русский литератор. Ах, помилуйте, евреи! израэлиты! сионисты! угнетенная невинность! священное племя! Я говорю одно, – Завалишин свирепо и звонко ударил вытянутым пальцем о ребро стола. – Я говорю только одно: у нас, куда ни обернешь-

ся, сейчас на тебя так мордой и прет какая-нибудь благородная оскорбленная нация. «Свободу! язык! народные права!» А мы-то перед ними расстилаемся. «О, бедная культурная Финляндия! О, несчастная, порабощенная Польша! Ах, великий, истерзанный еврейский народ... Бейте нас, голубчики, презирайте нас, топчите нас ногами, садитесь к нам на спины, поезжайте». Н-но нет! – грозно закричал Завалишин, внезапно багровея и выкатывая глаза. – Нет! – повторил он, ударив себя изо всей силы кулаком в грудь. – Этому безобразию подходит конец. Русский народ еще покамест только чешется спросонья, но завтра, господи благослови, завтра он проснется. И тогда он стряхнет с себя блудливых радикальствующих интел-ли-гентов, как собака блох, и так сожмет в своей мощной длани все эти угнетенные невинности, всех этих жидишек, хохлишек и полячишек, что из них только сок брызнет во все стороны. А Европе он просто-напросто скажет: тубо, старая...

– Bravo, bravo, bravo! – голосом, точно из граммофона, подхватил доктор.

Гимназисты, сначала испуганные криком, громко захохотали при последнем слове, а Анна Георгиевна сказала, делая страдальческое лицо:

– Поль, зачем ты так при детях! Завалишин одним духом проглотил стакан вина и торопливо налил второй.

– Пардон. Сорвалось. Но я говорю только одно: я сейчас высказал все свои убеждения. По крайней мере – честно и

откровенно. Пусть теперь они, то есть, я хочу сказать, господин студент, пусть они опровергнут меня, разубедят. Я слушаю. Это все-таки будет честнее, чем отделяться разными кривыми улыбочками.

Воскресенский медленно пожал плечами.

– Я не улыбаюсь вовсе.

– Ага! Не даете себе труда возражать? Конечно! Это самое лучшее. Стоите выше всяких споров и доказательств?

– Нет... совсем не выше... А просто нам с вами невозможно столкнуться. Зачем же понапрасну сердиться и портить кровь?

– Та-ак! Пон-ним-маю! Не удостоиваете, значит? – Завалишин пьянел и говорил преувеличенно громко. – А жаль, очень жаль, милый выюноша. Лестно было бы усладиться млеком вашей мудрости.

В эту секунду Воскресенский впервые поднял глаза на Завалишина и вдруг почувствовал прилив острой ненависти к его круглым, светлым, выпученным глазам, к его мясистому, красному и точно рваному у ноздрей носу, к покатутому назад, белому, лысому лбу и фатоватой бороде. И неожиданно для самого себя он заговорил слабым, точно чужим голосом:

– Вам непременно хочется вызвать меня на спор? Но уверяю вас, это бесполезно. Все, что вы изволили сейчас с таким жаром высказывать, я слышал и читал сотни раз. Вражда ко всему европейскому, свирепое презрение к инородцам,

восторг перед мощью русского кулака и так далее и так далее... Все это говорится, пишется и проповедуется на каждом шагу. Но при чем здесь народ, Павел Аркадьевич, этого я не понимаю. Не могу понять. Народ – то есть не ваш лакей, и не ваш дворник, и не мастеровой, а тот народ, что составляет всю Россию, – темный мужик, троглодит, пещерный человек! Зачем вы его-то пристегнули к вашим национальным мечтам? Он безмолвствует, ибо благоденствует, и вы его лучше не трогайте, оставьте в покое. Не нам с вами разгадать его молчание...

– Позвольте-с, я не хуже вас знаю народ...

– Нет, уж теперь *вы* позвольте мне, – дерзко перебил его студент. – Вы давеча изволили упрекнуть меня в том, что я будто бы смеюсь над вашими разглагольствованиями... Так я вам скажу уж теперь, что смешного в них мало, так же как и страшного. Ваш идеальный всероссийский кулак, жмуший сок из народишек, никому не опасен, а просто-напросто омерзителен, как и всякий символ насилия. Вы – не болезнь, не язва, вы – просто неизбежная, надоедливая сыпь, вроде кори. Но ваша игра в широкую русскую натуру, все эти ваши птицы-сирины, ваша поддевка, ваши патриотические слезы – да, это действительно смешно.

– Так. Пре-красно. Продолжайте, молодой человек, в том же духе, – произнес Завалишин, язвительно кривя губы. – Чудесные полемические приемы, доктор, не правда ли? Воскресенский и сам чувствовал в душе, что он говорит неясно,

грубо и сбивчиво. Но он уже не мог остановиться. В голове у него было странное ощущение пустоты и холода, но зато ноги и руки стали тяжелыми и вялыми, а сердце упало куда-то глубоко вниз и там трепетало и рвалось от частых ударов.

– Э, что там приемы. К черту! – крикнул студент, и у него этот крик вырвался неожиданно таким полным и сильным звуком, что он вдруг почувствовал в себе злобную и веселую радость. – Я слишком много намолчался за эти два месяца, чтобы еще разбираться в приемах. Да! И стыдно, и жалко, и смешно глядеть, Павел Аркадьевич, на вашу игру. Знаете, летом в увеселительных садах выходят иногда дуэтисты-лапотники. Знаете:

Раз Ванюша, крадучись,
Дуню увидал
И, схвативши ее ручку,
Нежно целовал.

Что-то мучительно фальшивое, наглое, позорное! Так и у вас. «Русские щи; русская каша – мать наша». А вы видели эти щи когда-нибудь? Пробовали? Сегодня с таким, а завтра с нетом? Вы ели ихний хлеб? Вы видали ихних ребят с распученными животами и с ногами колесом? А у вас повар шестьдесят рублей в месяц получает, и лакей во фраке, и паровая стерлядка. Так и во всем вы. Русское терпение! Русская железная стойкость! Да ведь какими ужасами рабства, каким кровавым путем куплено это терпение! Смешно

даже! Русское несокрушимое здоровье, – ах, раззудись плечо! – русская богатырская сила! – у этого-то изможденного работой и голодом, опившегося, надорванного человека?.. И в довершение всего этого неистовый вопль: долой сюртуки и фраки! Вернемся к доброй, славной, просторной и живописной русской одежде! И вот вы, на смех своей прислуге, наряжаетесь, точно на святки, в поддевку, по семи рублей за аршин, на муаровой подкладке. Эх, весь ваш национализм на муаровой подкладке. Господи, а когда вы заведете речь о русской песне – вот чепуха какая! Тут у вас и море слышится, и степь видится, и лес шумит, и какая-то беспредельная удаль... И все ведь это неправда: ничего вы здесь не слышите и не чувствуете, кроме болезненного стона или пьяной икотки. И никакой широкой степи вы не видите, потому что ее и нет вовсе, а есть только потное, искаженное мукой лицо, вздувшиеся жилы, кровавые глаза, раскрытый, окровавленный рот...

– Вам, духовенству, виднее с колокольни, – презрительно фыркнул Завалишин, но студент только отмахнулся рукой и продолжал:

– Ну-с, а теперь, изволите ли видеть, вошло в моду русское зодчество! Резные петухи, какие-то деревянные поставцы, ковши, ендовы, подсолнечники, кресла и скамьи, на которых невозможно сидеть, какие-то дурацкие колпаки... Господи, да неужели же вы не чувствуете, как все это еще больше подчеркивает страшную скудость народной жизни, узость и бед-

ность фантазии? Серое, сумеречное творчество, папуасская архитектура... Игра, именно игра. Игра гнусная, если все это делается нарочно, чтобы водить дураков и ротозеев за нос, и жалкая, если это только модное баловство. Какой-то нелепый маскарад! Все равно если бы доктора, приставленные к больнице, вдруг надели бы больничные халаты и стали бы в них откалывать канкан. Вот он что такое, ваш русский стиль на муаровой подкладке!..

Что-то перехватило горло Воскресенскому, и он замолчал. Только теперь, спохватившись, он сообразил, что во время своей бессвязной речи он, незаметно для самого себя, встал во весь рост и колотил кулаками по столу.

– Может быть, вы еще что-нибудь прибавите, молодой человек? – с усиленной вежливостью, преувеличенно мягко спросил весь побледневший Завалишин. Губы у него кривились и дергались, а концы пышной бороды тряслись.

– Все, – глухо ответил студент. – Больше ничего...

– Тогда позвольте уж и мне последнее слово. – Завалишин встал и швырнул салфетку на стул. – Убеждения – убеждениями, и твердость в них вещь почтенная, а за своих детей я все-таки отвечаю перед церковью и отечеством. Да. И я обязан ограждать их от вредных, развращающих влияний. А поэтому, – вы уж извините, – но одному из нас – или мне, или вам – придется отстраниться от их воспитания...

Воскресенский молча кивнул головой. Павел Аркадьевич резко повернулся и большими шагами пошел от стола. Но в

дверях он остановился. Его еще душила злоба. Он чувствовал, что студент взял над ним нравственный верх в этом бесполом споре, и взял не убедительностью мыслей, не доводами, а молодой, несдержанной и хотя сумбурной, но все-таки красивой страстностью. И ему хотелось, прежде чем уйти отсюда, нанести студенту последнее оскорбление, потяжелее, похлестче...

– Мой человек принесет вам наверх деньги, которые вам следует, – сказал он в нос, отрывисто и надменно. – А также, по условию, деньги на дорогу.

И вышел, так сильно хлопнув дверью, что хрустальная посуда на столе задрезжалась и запела тонкими голосами.

На балконе все продолжительно и неловко замолчали. Воскресенский дрожащими холодными пальцами катал хлебный шарик, низко наклонив лицо над столом. Ему казалось, что все, даже шестилетняя Вавочка, смотрят на него с любопытством и брезгливой жалостью. «Пойти и дать ему пощечину? – бессвязно мелькало у него в голове. – Вызвать на дуэль? Ах, как все это вышло скверно, как пошло! Вернуть ему назад деньги? Швырнуть в лицо? Фу, какая гадость!»

– Милый Сашенька, не придавайте такого значения, – ласкающим голосом, точно с маленьким, заговорила Анна Георгиевна. – Голубчик, не стоит. Через час он сам сознается, что был неправ, и извинится. Уж если говорить правду, то ведь и вы ему порядочно наговорили.

Он не ответил. Больше всего на свете он хотел бы сейчас же встать, уйти куда-нибудь подальше, спрятаться в какой-нибудь темный, прохладный угол, но сложная, мучительная нерешительность приковывала его к месту. Доктор заговорил о чем-то слишком громко, неестественно развязным тоном. «Это он оттого так, что ему за меня стыдно», – подумал Воскресенский и стал прислушиваться, почти не понимая слов.

– Один мой знакомый, который хорошо знает арабский язык, так он сравнивал арабские поговорки с русскими. И получились прелюбопытные параллели. Например, арабы говорят: «Честь – это алмаз, который делает нищего равным султану». А по-русски выходит: «Что за честь, коли нечего есть». То же насчет гостеприимства. Арабская пословица говорит...

Воскресенский вдруг встал; не глядя ни на кого, с потупленными глазами неуклюже обошел стол и торопливо бежал с балкона в цветник, где сладко и масляно пахло розами. За своей спиной он слышал тревожный голос Анны Георгиевны:

– Сашенька, Александр Петрович, куда же вы? Сейчас подадут фрукты!..

III Придя наверх, Воскресенский переоделся, вытащил из-под кровати свой старый, порыжелый, весь обклеенный багажными ярлыками чемодан и стал укладываться. С ожесточением швырял он в чемодан книги и лекции, с излишней

энергией втискивал скомканное кое-как белье, яростно затягивал узлы веревок и ремни. И по мере того, как расходовалась его физическая сила, взбудораженная недавним неудовлетворенным гневом, – он сам понемногу отходил и успокаивался.

Покончив с чемоданом, он выпрямился и оглянулся кругом. Внезапно ему стало жаль своей комнаты, точно в ней оставалась часть его существа. По утрам, когда он просыпался, ему не надо было даже приподымать голову от подушки, чтобы увидеть прямо перед собою темную, синюю полосу моря, подымавшуюся до половины окон, а на окнах в это время тихо колебались, парусясь от ветра, легкие, розоватые, прозрачные занавески, и вся комната бывала по утрам так полна светом и так в ней крепко и бодро пахло морским воздухом, что в первые дни, просыпаясь, студент нередко начинал смеяться от бессознательного, расцветавшего в нем восторга.

Воскресенский вышел на балкон. Далеко впереди выдавался в море узкий длинный мысок, кончавшийся правильным закруглением, которое здесь называли батареей. Из-за батареи, круто огибая ее, выплывал маленький паровой катер, и отчетливо доносилось его торопливое фырканье, похожее на дыхание запыхавшейся собаки. Под полотняным тендом можно было разглядеть темные человеческие фигуры. Катер покачивало, но он бодро подымался на одну волну и, с замедлением перевалившись через нее, смело зарывался

носом в следу ющую, между тем как разрезанная им вода взмывала к самым бортам. А еще дальше, как будто посередине между берегом и горизонтом, плавно, без малейшего звука и сотрясения, двигалась черная, могучая громадина большого парохода с наклоненными назад трубами. И тотчас же, сквозь легкое облачко набежавшей грусти, Воскресенский почувствовал то сладкое и дерзкое замирание сердца, которое он всегда испытывал при мыслях о дальних поездках, о новых впечатлениях, о новых людях – о всей безбрежной широте лежащей перед ним молодой, неисчерпанной жизни.

«Завтра и я буду толкаться по пароходу вместе с другими, буду знакомиться, смотреть на берега, на море, – подумал он. – Хорошо!»

– Сашенька, где вы здесь? Подите ко мне, – услышал он голос Анны Георгиевны.

Он быстро вернулся в комнату, застегивая на ходу ворот красной рубахи и поправляя волосы. Какой-то мимолетный испуг, какое-то темное, раздражающее предчувствие на мгновение шевельнулось в его душе.

– Устала! – говорила Анна Георгиевна, слегка задыхаясь. – Как у вас хорошо. Прохладно.

Она села на подоконник. На фоне ослепительного, бело-голубого неба сверху и густой синевы моря снизу – ее высокая, немного полная фигура, в белом капоте, обрисовалась с тонкой, изящной и мягкой отчетливостью, а жесткие, ры-

жеватые против солнца завитки волос зажглись вокруг ее головы густым золотым сиянием.

– Ну, что, сердитый воробей, – спросила Анна Георгиевна с нежной фамильярностью, – еще не простыли?

– Простыл. Сейчас вот еду, – угрюмо ответил студент.

– Саша!..

Она произнесла его имя тихо и таким странным, протяжным, волнующим звуком, какого Воскресенский не слышал никогда в жизни. Он вздрогнул и пристально поглядел на нее. Но она сидела спиной к яркому свету, и выражения ее лица нельзя было рассмотреть. Однако студенту показалось, что ее глаза блестят не по-обыкновенному.

– Саша, родной мой, вы не уедете! – вдруг заговорила она, спеша и задыхаясь. – Нет, нет, милый, вы не уедете. Слышите? Подите сюда. Да сюда же, ко мне... ко мне, вам говорят!.. Ох, какой бестолковый... Слышите, не смейте ехать. Я не хочу. Дорогой мой, вы останетесь...

Она схватила его руки, крепко сжала их и, не выпуская из своих, положила к себе на колени, так что он на секунду ощутил под легкой шершавой тканью капота ее твердое и точно скользкое тело.

– Останетесь? Да? – спросила она быстрым шепотом, близко заглядывая ему в лицо.

Он поднял глаза и встретился с ее затуманенным, неподвижным, жадным взглядом. Горячая радость хлынула у него из сердца, разлилась по груди, ударила в голову и заби-

лась в висках. Смущение и неловкость исчезли. Наоборот, было жуткое, томительное наслаждение – глядеть так долго, так бесстыдно и так близко, не отрываясь и не произнося ни слова, в эти прекрасные, еще сияющие слезами, бессмысленные страстью глаза. Потом он полусознательно почувствовал, что она смотрит ниже его глаз, и он сам перевел глаза на ее крупные, яркие раскрытые губы, за которыми сверкала влажная белизна зубов. Ему вдруг показалось, что воздух в комнате стал знойным; во рту у него сразу пересохло, и стало трудно дышать.

– Останетесь? Да? Правда?

Он обнял ее и тотчас же почувствовал ее большое, роскошное тело легким, живым, послушным каждому движению, каждому намеку его рук. Какой-то жаркий, сухой вихрь вдруг налетел и скомкал его волю, рассудок, все его гордые и целомудренные мысли, все, что в нем было человеческого и чистого. Почему-то вдруг, обрывком, вспомнилось ему купанье перед обедом и эти теплые, качающиеся, ненасытные волны.

– Милый, правда? Правда? – повторяла без конца женщина.

Он грубо, по-зверски, схватил ее на руки и поднял. Точно в бреду, он слышал, как она с испугом прошептала:

– Дверь... ради бога... дверь!

Он машинально оглянулся назад, увидел раскрытую настежь дверь и темноту коридора за нею, но не понял ни смыс-

ла этих слов, ни значения этой двери и тотчас же забыл о них. Полузакрытые черные глаза вдруг очутились так близко около его лица, что очертания их стали неясными, расплывчатыми, и сами они сделались огромными, неподвижными, страшно блестящими и совсем незнакомыми. Горячие, качающиеся волны хлынули на него, разом затопили его сознание и загорелись перед ним странными вертящимися кругами...

Потом он очнулся и услышал с удивлением ее точно о чем-то умоляющий голос:

– Я обожаю тебя... Мой сильный, молодой, красивый...

Она сидела рядом с ним на его постели и с покорным, заискивающим видом жалась головой к его плечу, стараясь поймать его взгляд. А он глядел в сторону, хмурился и трясущейся рукой нервно теребил бахрому своего пледа, висевшего на спинке кровати. Непобедимое отвращение росло в нем с каждой секундой к этой женщине, только что отдавшейся ему. Он и сам понимал, как эгоистично было это чувство, но не мог его пересилить даже из благодарности, даже из сострадательной вежливости. Ему было физически гадко ее близкое присутствие, ее прикосновение, шум ее частого прерывистого дыхания, и хотя он во всем происшедшем винил одного себя, но слепая, неразумная ненависть и презрение к ней наполняли его душу.

«О, какой я подлец! Какой подлец!» – думал он и боялся в то же время, что она прочитает его мысли и чувства у него

на лице.

– Милый мой, обожаемый, – растроганно говорила Анна Георгиевна. – Зачем ты отвернулся? Ты сердишься? Тебе неприятно? О мой дорогой, неужели ты не замечал, что я тебя люблю? С самого начала, с самого первого дня... Ах, впрочем, нет! Когда ты к нам пришел в Москве, ты мне не понравился. Я думала: «У, какой злюка». Но зато потом!.. Милый, посмотри же на меня...

Студент пересилил себя и как-то сбоку, неуклюже, исподлобья взглянул на нее. И у него даже захватило горло: до того противным показалось ему ее раскрасневшееся лицо со следами пудры у ноздрей и на подбородке, мелкие морщинки около глаз и на верхней губе, которых он раньше не замечал, и в особенности ее молящий, тревожный, полный виноватой преданности, какой-то собачий взгляд. Содрогаясь спиной от гадливости, он отвернулся.

«Но почему же я-то ей не противен? – подумал он с отчаянием. – Почему? Ах, я подлец, подлец!..»

– Анна Георгиевна... Нина, – сказал он, заикаясь, фальшивым, деревянным, как ему самому показалось, голосом. – Вы меня простите... Вы меня извините, я взволнован и не знаю, что говорю... Поймите меня и не сердитесь... Мне нужно побыть одному... У меня голова кружится.

Он сделал невольное движение, как бы отстраняясь от нее, и она поняла это. Ее руки, обвинявшие его шею, бессильно упали вдоль колен, и голова опустилась вниз. Так она поси-

дела еще минуту и затем встала, молча, с покорным видом.

Она понимала лучше, чем студент, то, что с ним теперь происходило. Она знала, что у мужчин первые шаги в чувственной любви сопряжены с такими же ужасными, болезненными ощущениями, как и первые затяжки опиумом для начинающих, как первая папироса, как первое опьянение вином. И она знала также, что до нее он не сблизился ни с одной женщиной, что она была для него *первой*, знала это по его прежним словам, чувствовала это по его дикой и суровой застенчивости, по его неловкости и грубости в обращении с ней.

Ей хотелось утешить, успокоить его, объяснить ему в нежных материнских выражениях причины его страданий, так как она видела, что он страдает. Но она – всегда такая смелая, самоуверенная – не находила слов, она смущалась и робела, точно девушка, чувствуя себя виноватой и за его падение, и за его молчаливую тревогу, и за свои тридцать пять лет, и за то, что она не умеет, не находит, чем помочь ему.

– Саша, это пройдет, – сказала она чуть слышно. – Это пройдет, успокойтесь, верьте мне. Только не уезжайте... слышите? Вы ведь скажете мне, если захотите уехать?

– Да... хорошо... да... да... – повторял он нетерпеливо и все оглядывался назад, на дверь.

Она вздохнула и тихо вышла из комнаты, беззвучно притворив за собою дверь. А Воскресенский обеими руками вцепился себе в волосы и со стоном повалился лицом в по-

душку.

IV На другой день Воскресенский ехал в Одессу на большом пассажирском пароходе «Ксения». Он позорно и мало-душно сбежал от Завалишиных, не вытерпев жестокого раскаяния, не находя в себе решительности встретиться лицом к лицу с Анной Георгиевной. Прележав до сумерек в постели, он, как только стало темно, собрал свои вещи и потихоньку, крадучись, точно вор, задним крыльцом вышел в виноградник, а оттуда спрыгнул на шоссе. И во все время, пока он добрался до почтовой станции, пока ехал в дилижансе, битком набитом молчаливыми турками и татарами, пока устраивался в ялтинской гостинице на ночь, его не оставлял колючий стыд и беспощадное омерзение к себе самому, к Анне Георгиевне, ко всему, что вчера произошло, и к собственно мальчишескому побегу. «Вышло так, как будто бы после ссоры, из мести, я взял и украл что-то у Завалишиных и убежал от них», – думал он, злобно стискивая зубы.

День был жаркий, безветренный. Море лежало спокойное, ласковое, нежно-изумрудное около берегов, светло-синее посредине и лишь кое-где едва тронутое ленивыми фиолетовыми морщинками. Внизу под пароходом оно было ярко-зелено, прозрачно и легко, как воздух, и бездонно. Рядом с пароходом бежала стая дельфинов. Сверху было отлично видно, как они в глубине могучими, извилистыми движениями своих тел рассекали жидкую воду и вдруг с разбегу, один за другим, выскакивали на поверхность, описав быст-

рый темный полукруг.

Берег медленно уходил назад. Постепенно показывались и скрывались густые, взбирающиеся на холмы парки, дворцы, виноградники, тесные татарские деревни, белые стены дач, утонувших в волнистой зелени, а сзади голубые горы, испещренные черными пятнами лесов, и над ними тонкие, воздушные очертания их вершин.

Пассажиры толпились на правом борту, у перил, лицом к берегу. Называли вслух места и фамилии владельцев. На середине палубы, около люка, двое музыкантов – скрипка и арфа – играли вальс, и избитый, пошлый мотив звучал необыкновенно красиво и бодро в морском воздухе.

Воскресенский нетерпеливо искал глазами знакомую дачу в виде русского терема. И когда она показалась наконец из-за густой чащи княжеского парка и стала вся видна над своей огромной, белой крепостной стеной, он часто задышал и крепко прижал руку к холодевшему сердцу.

Ему показалось, что он различает на нижней террасе белое пятно, и ему хотелось думать, что там сидит теперь эта странная женщина, ставшая вдруг для него такой таинственной, непонятной и привлекательной, и что она смотрит на пароход такими же, как и он, печальными, полными слез глазами. Он представил себе самого себя, стоящего там, на балконе, рядом с ней, но не теперешнего себя, а вчерашнего, неделю назад, – прежнего себя, какого уже больше никогда не будет. И ему стало жалко, – нестерпимо, до боли жалко

той полосы жизни, которая ушла от него навсегда и никогда не вернется, никогда не повторится... С необычайной яркостью, в радужном тумане слез, застилавших глаза, встало перед ним лицо Анны Георгиевны, но не торжествующее, не самоуверенное, как всегда, а кроткое, с умоляющим выражением, виноватое, и сама она представилась ему почему-то маленькой, обиженной, слабой и как-то болезненно близкой ему, точно приросшей навеки к его сердцу.

И к этим тонким, грустным, сострадательным ощущениям примешивалось чуть слышно, как аромат тонкого вина, воспоминание о теплых обнаженных руках, и о голосе, дрожавшем от чувственной страсти, и о прекрасных глазах, глядевших вниз, на его губы...

Прячась за деревьями и дачами и опять показываясь на минутку, русский терем уходил все дальше и дальше назад и вдруг исчез из виду. Воскресенский, прижавшись щекой к чугунному столбику перил, еще долго глядел в ту сторону, где он скрылся. «Все сие прошло, как тень и как молва быстротечная», – вспомнился ему вдруг горький стих Соломона, и он заплакал. Но слезы его были благодатные, а печаль – молодая, светлая и легкая.

Внизу, в салоне, зазвонили к завтраку. Болтливый, шумный студент, с которым Воскресенский познакомился еще на пристани, подошел к нему сзади, хлопнул его по спине и закричал радостно:

– А я вас, коллега, ищу... Вы ведь с продовольствием?

Аида водку пить...